



**Олег Анатольевич Визер** родился в 1969 году на Сахалине. По образованию филолог. Работал учителем русского языка и литературы. Увлекается литературным творчеством. Публиковался в журналах «Смена», «Москва», «Кольцо А», «Аргатак», в сетевых литературных изданиях. Живет в городе Мензелинске (Республика Татарстан).

**Олег Визер**

## «ВДРУГ Я РАНО УМРУ...»

*Рассказ*

*Посвящается Ангелам Новороссии*

*Смотрите, не презирайте ни одного  
из малых сих; ибо говорю вам,  
что Ангелы их на небесах всегда видят  
лицо Отца Моего Небесного.*

Евангелие от Матфея 18:10

1

**Б**ыл Международный день защиты детей. Все время, пока на Аллее Ангелов шла траурная церемония возложения венков, цветов и детских игрушек, а затем утешительных — насколько это было возможным — речей представителей Донецкой администрации, клятвенно обещающих, что нелюди обязательно за все ответят, что дело лишь во времени, и долго еще потом, после того, как все разошлись, он — рослый, сутулый мужчина в годах — в одиночестве стоял в стороне от людской толпы напротив мемориальной плиты.

В то утро плакали не только люди: природа будто чувствовала витающее над парком горе — в первый летний день моросил дождик, прохладный и колючий. Мужчина был без зонта и головного убора. Он стоял, втянув голову глубоко в плечи — отчего и выглядел сутулым, — таким образом прячась от дождя за поднятыми бортами ворота. Руки скрывал в карманах грязной и потер-

той куртки камуфляжной расцветки. По свистящимся локонам давно не стриженных намокших волос ему за шиворот тонкими струйками стекала дождевая вода.

Я видел, как он пришел в парк задолго до начала траурного мероприятия с трехколесным детским велосипедом под мышкой. Мужик не присоединился к толпе, а держался особняком: стоял спиной ко всем у мемориальной плиты, заставленной в несколько рядов игрушками и букетами, между которыми он поставил принесенный с собой велосипед. Все время я невольно бросал взгляд в его сторону. И чем дольше наблюдал за ним, тем больше кололо у меня под ложечкой от щемящего чувства тоски, овладевшей мной. От этого позже и возникла неукротимая потребность непременно, сейчас же, подойти к этому человеку и разделить вместе с ним его горе. Хотя бы молчаливым сочувствием разделить. Хотя бы тем, что я просто постою рядом с ним.

Парк быстро опустел — усиливающийся дождь разогнал людей. Мягкие игрушки намокли: под тяжестью воды плюшевые зверята согнулись и поникли головами. Металлическая арка, сделанная из переплетающихся роз и пулеметных лент и обрамляющая плиту с высеченными на ней фамилиями, именами и возрастом погибших детей, плакала тоже: с нее тонкими нитями стекали струйки дождя.

Он даже не шевельнулся, когда я подошел и встал рядом. Напротив него — вложенная в букет свежих цветов свежая фотография. Со снимка — как из прошлой жизни — на наш мир смотрел, улыбаясь во весь рот, мальчишка; его задорные голубые глаза, слегка раскосые, сияли жизнерадостностью. Довольное лицо счастливого ребенка, да еще вчера живого, невозможно было сопоставить с указанной под фотографией датой рождения и датой смерти, между которыми теснились короткой, как дефис, отрезок времени в десять лет. Подобное воспринималось как нечто противоестественное и дикое, чуждое сознанию. Нельзя человеку так мало жить.

Мальчик геройски погиб во время артобстрела украинскими военными. Эта трагическая новость недавно облетела регион, а вскоре и вся страна узнала о ней. Когда на мирный город полетели снаряды укронацистов, мальчик заслонил собою младшую сестренку и погиб. Девочка, к счастью, выжила, получив незначительные ранения.

— Внук? — решил я уточнить.

— Сын, — глухо ответил мужчина и повторил еще раз: — Сын.

Ответ обескуражил. И, знаете, меня пробрала холодная дрожь. Вы когда-нибудь видели молодых стариков? Нет, не тех, шестидесятилетних, спортивных и бодрых, которые выглядят на пятьдесят, а то и на все сорок, потому что следят за собой и ведут здоровый образ жизни. А тридцатилетних парней, которым судьба изуродовала не только душу, но и внешность, изрезав глубокими морщинами их лица, превратив в стариков. Такие лица бывают у парней, побывавших в горячих точках, видевших жестокость; у ребят, войной изрезанное сердце которых, пытая и крича, но все же еще бьется, предоставляя своему хозяину возможность жить. Пусть и мучаясь от нестерпимой боли, которая ни на секунду не утихает — и никакими препаратами не заглушается, — но все-таки жить. Лишь одно лекарство способно унять эту боль, и то временно — это отмщение.

Во внешнем облике парня, которому не было и тридцати, все говорило о сильном потрясении: неухоженная седая борода, глубокие морщины, сухая и мятая, точно бумага, пожелтевшая кожа. Все печали и горести, что случались в его жизни, — все это было отпечатано на лице преждевременно состарившегося молодого человека. Повстречай я его в таком виде где-нибудь в мирном городе, решил бы — это бродяга.

Я отвел глаза.

— Простите, — это все, что у меня получилось выдавить из себя — в горле застрял ком.

Мы долго молча стояли, каждый о своем. Безмолвие тяготило, и хотелось скорее выйти из этого неуютного состояния, нарушить гнетущую тишину.

Справившись с волнением, я осторожно спросил:

— Как тебя зовут?

— Семен, — представился он.

— Как это произошло?

Семен посмотрел на меня — от его взгляда, сухого и безжизненного, мне снова стало нехорошо; никогда раньше я не видел у человека таких пустых, мертвых глаз; люди с такими глазами не боятся смерти; они ничего в этой жизни уже не боятся.

— Зачем?.. — спросил он.

— Ненавистью хочу пропитаться к ним. Чтоб не раздобреть, — процедил я сквозь зубы. — Хочу ненавидеть их всегда, всю жизнь. И не дать этой сволочи снова возродиться — вот зачем.

Его взгляд изменился: теперь он смотрел на меня, как на наивного ребенка, даже едва заметно ухмыльнулся.

— Из области я, из Волновахи. В Донецке оказался в пятнадцатом, через год после майдана. Ну, оказался — это легко сказано. Вернее будет, бежал из родного города, как только его айдаровцы да азовцы, будь они чертями изжарены, под свой контроль прибрали. Как увидел, шо ставленный ими мэр нашего города гитлеровские кресты на своем мундире носит, а руки его по локоть в фашистских знаках да слова немецких, когда он, паскуда такая, священников из церковей повыгонял, а в них иноземные оргии да обряды устраил, чуждые нам, — вот тогда-то все сразу и понял, смекнул, куда страна и народ наш катится. Не-е, думаю, этакое не для меня, уж простите-подвиньтесь. Да на кой черт тоди ж мой дед немца-то бил, на Курской дуге в сорок третьем жизнь свою положил, для чего? Шоб эта сволочь недобитая возродилась снова и правила внуками? Да мне совесть моя не позволит этой своре шакалячих выродков пособничать, этой шпане подчиняться? Нетушки.

Вначале, конечно, ни черта в политике не понимал, жил, як говорится, на автомате. Призвали в армию — пошел, ничего не подозревая, как и многие из мобилизованных. Но заместо оружия нам кирку да лопату выдали, и отправили под Донецк траншеи, окопы да всякие муравьиные ходы в земле рыть. В общем, под Авдеевкой, на линии, как ее тогда культурно называли, соприкосновения сооружали укрепрайоны. Расквартированы были в Авдеевке. Оттуда каждый день нас на работы грузовиками возили. Вот и вся служба: инструмент в руки — и давай, копай, браток. А тем временем, пока мы рыли, киевские гниды отдавали приказы бомбить Донецк. Мы копаем, а снаряды тико свищут над головами. Позади, за спиною пальнет — поперэду гроыхает. Шо ж цэ, думаю, творится такое? Получается, мы против своих, что ли, воюем? Да ерунда шось какая-то: колы свои своих же убивают — брат брата, получается. Шо я вообще до сих пор здесь делаю, спрашивал я себя. Там же, по ту сторону, земляки мои, жинка моя с двухлетним сыном, родители, да вся ж родня моя там, а в Донецке сестры да братья... Не-е-е, так не пойдет, думаю. Надо шось решать, как-то определяться со своей позицией по этому поводу. Среди нас некоторые хлопцы голосистые были, много чего лишнего балакали про политику, всякие разные свои сомнения высказывали по поводу происходящего здесь, в Киеве да в Криму. Командованию подобные мнения не нравились — наики правдолюбцев не жаловали. Дуже разговорчивых бойцов тут же снимали с работ и куда-то увозили под различными предлогами, и больше мы их не видели и о них ничего не слышали.

Как-то раз, во время перекура, сидя в блиндаже, эта мысль и пришла мне в голову, прилипла, как оса на компоте. Той же ночью твердо решил: бегу я отсюда к чертовой матери, пока не поздно.

На следующее утро позвонил своей, сказал, что так, мол, и так, собирай манатки, бери дитя да тикай в Донецк к сестре. Там меня и жди. Вкратце рассказал, как плохи дела по всей Украине, шо разумнее держаться донецкой власти. Она небось и сама все понимала, неглупая баба, потому без разговоров, на следующий день перебралась в Донецк, благо тогда еще пропускной режим не такой жесткий был, и люди могли ездить туда-сюда почти беспрепятственно. Десь после обеда она позвонила, сказала, шо нашла машину и вечером выезжает. Стал и я собирать манатки. В то время связь с Донецком плохая была, с перебоями, а то и вообще ее не было. Я так и не смог в тот день дозвониться сестре и узнать, как мои добрались.

Сам утек следующим днем во время обеда. Пошел якобы по нужде за кусты близ лесочка, а там, внаглую, пешочком, не спеша так, соснами, соснами, да и пересек тихонько линию фронта. В пятнадцатом у них слабый контроль был за нами: доверяли еще, верили, что мы за бандеровскую власть будем задницы рвать, против своих братьев воевать. Короче, пересек я линию соприкосновения ночью, а к утру был в Донецке. В городе никто на меня не обратил внимания: я ж форму-то нацистскую скинул, а по дороге, в одном хуторе, с которого ушли жители, во дворе нашел более-менее по размеру кое-какую одежду, она на веревке сушилась, и переоделся.

Подхожу к дому сестры, она в Кировском районе жила, бачу, а пятиэтажка вся в дырах, окна без стекол, видать, расстреливали хрущевку, да не раз. Понятно было, шо в ней вряд ли кто живет постоянно из-за бомбежек. Пошел в подвал искать. Там, среди спрятавшихся, и нашел...

Он замолчал, стал тереть друг о друга ладони, прикусил нижнюю губу — то ли сдерживал ярость, то ли плач. Потом потряс головой, сглотнул и продолжил:

— Вернее, сынишка меня первым увидел. Видать, сестра подсказала, когда увидела меня. Мне ж с дневного света в полутьме непривычно было, не могу различить лица, а он, шо котенок, сразу узнал. Бежит, кричит из темноты, радуется: «Батька! Батька! Ты приехал!» Вскочил на руки, обнял меня за шею и не отпускает, прижался так, что дышать не могу. Сам-то радуюсь, плачу, не разжимаю его ручки, хоть и воздуху хочется набрать, уж пусть давит, думаю, все вытерплю, лишь бы в безопасности находился малой и в полном здравии. Обнимаюсь с ним, а сам рыщу глазами по темноте, жинку ищущу, вот-вот, ожидаю, появится. Поставил малого на пол, хочу о матери спросить, а сам боюсь. Оглядываюсь вокруг, среди незнакомых лиц ищущу Машкино, да не вижу. А потом думаю: пацан сразу бы позвал ее, как только увидел меня. Значит, нет ее в подвале. К тому же малец почему-то молчал. Тут-то и закралась в мое сердце первая тревога, отчего я просто присел на корточки, ну и пустил горькую, как говорится, слезу. Сын обнял мою голову, думая, что плачу я от радости, что нашел его, — и давай сам плакать. А потом подошла сестра и все рассказала. «Не доехала, — говорит, — твоя Маша. На блокпосте под Еленовкой нацики их остановили, досмотр делали. Вместе с ней в машине еще хтось ехал. Тех попутчиков отпустили, а ее увели с собой. Успела тико адрес шоферу назвать, чтоб малого отвез».

Что с ней стало, одному Богу известно. Красивая она у меня, ох какая красавица... Приглянулась, видать, ее коса подонкам... В беде моя Машка, ох, нутром чую, в беде. Хорошо, если жива еще. Мою одноклассницу вон, Таньку Коваленчиху, так ее азовцы типа в плен забрали, сказали, шо она вроде как русская шпионка, и увезли, мучали год, а потом солдатам на потеху отдали, из роты в роту по окопам бедную таскали. Не выдержала девка, повесилась в лесополосе. Нашли ее спустя полгода, когда от нациков освободили район. А шо с моею, и думать не хочу. Пусть в плену, пусть хоть рабыней — лишь бы жива была. Тико б не убили, гниды. Одна надежда теперь: кончится война, даст Господь, Машка моя и объявится.

Малому мы сказали, шо мамка на боевом задании, шо скоро приедет. С этим мальчишка мы жил и, разумеется, не переживал так, как я. Тем временем я устроился на шахту. Поначалу, пока в забое был, за малым сестра присматривала. Но в позапрошлом году она подорвалась на «лепестках», сброшенных вэсэушниками, и померла от ранений. Стали за пацаном люди добрые смотреть.

Бедный парен! Он толком детства-то не видал, радости семейной не испытывал. Какие там игрушки! Детворе мы приносили уцелевшие игрушки, которые находили в разрушенных домах. Смотрел я на все это, на жизнь такую нашу, и кровью сердце обливалось. «Да шо ж это такое творится, Господи! Шо ж за долготы устроил нашим детям: ни света, ни тепла, ни еды толковой не видят».

Семен ткнул носком ботинка в заднее колесо велосипеда.

— Многие дети даже на велосипеде ни разу в своей жизни не катались, тико на картинке бачили, иль когда кто где мимо проедет. Да и где кататься-то, в подвале, что ли? На улице, под обстрелами, дюже не накатаешься — опасно. А шоб зря не дразнить детвору, мы им и не приносили ни самокаты, ни велосипеды. А мой же хныкал постоянно, просил велик: это мечта номер один у него. Говорю ему, война, мол, закончится, куплю, тогда и накатаешься вдоволь. А он все одно: просит и просит, говорит:

— А вдруг не закончится война, или я подорвусь на mine?

— Не болтай ерунду! — А самого жалость пробирает. Стал обдумывать, как сделать малому такой подарок, где найти велосипед.

Вообще, до того дня я отосылался к войне, если можно так выразиться, спокойно: думал, вот-вот все образумится, наступит мир. Мы все вроде как надеялись на Минские переговоры, верили, шо президенты договорятся, шо нас услышат. Ну и продолжал честно трудиться на шахте, считал, шо, добывая уголь, не меньше помогаю своей республике, чем солдаты на поле боя.

Как-то вечером, возвращаясь после смены, в груде мусора на соседней улице вот этот самый велик и нашел — кто-то, видать, выкинул. Принес малому, трясущим велосипедом в руке, а он бежит радостный, аж спотыкается. Да только ночь наступала, все спать укладывались, потому не пришлось ему в тот вечер покататься. Только потрогал его и маленько на сидушке посидел. Пообещал ему, если завтра налетов не будет, разрешу на улице покататься. Довольный такой, он так и уснул, обнявшись с подарком.

Утром мы с мужиками, как обычно, вышли из подвала, прислушались: вроде тихо, взрывов не слышать. Женщины разошлись кто куда: одни на рынок за едой — туда съезжались машины с благотворительной помощью из России, другие с ведрами и баклажками за питьевой водой, ну а мы, мужики, за топливом — за дровами. Варить-то еду на чем-то надобно: готовили ж на костре. Чего-чего, а дров в городе хватало: и поваленные взрывной волной деревья распиливали, и в разрушенных зданиях разбирали мебель, оконные рамы да паркет. Днем, когда покидали подвал, снаружи обязательно оставляли дежурить пару взрослых: от мародеров там всяких, а заодно и за детишками присмотреть. Если не было прилетов, детей выводили на прогулку, чтоб те хоть солнечный свет увидели да глоток воздуха свежего вдохнули. Пусть на десять минут, да хоть на минуту, но прогулка — закон.

В то утро, после того как мы ушли за дровами, детей, как обычно, вывели на улицу. Мой как раз собирался обкатать свою технику.

В километре от нашего дома на днях после обстрела была разрушена пятиэтажка. Туда мы и пошли. Тикэ начали разбирать заваленный кирпичами вход в подъезд, как начался обстрел. Мы схватили по охалке деревяшек, шо оказались под рукой, шоб не с пустыми руками возвращаться, и бегом обратно. Еще издали увидели, как один из снарядов попал в соседний с нашим подвалом дом. Следом прилетел второй — уже по крыше нашего. Испугался я за своего малого: он-то,

знаю, снаружи, вместе с детьми играет. Выбросил к черту доски и налегке рванул к подвалу.

Подбегаю ко двору, вижу, перед нашим подъездом бабы и мужики столпились, стоят спинами ко мне, на шось смотрят. А потом женский плач... Даже не плач, а рев звериный. Бабы, если так плачут, значит, случилось что-то очень плохое. Тут-то все и опустилось у меня внутри. Знаешь, и ноги уже не держали, так я испугался, почувствовал, шо явилась ко мне беда.

Подковылял на ватных ногах к толпе, а люди, завидя меня, начали раздвигаться, коридор делать, шоб я по нему прошел. И все молча смотрят на меня, да такими глазами смотрят, шо до сих пор не забуду какими: такие глаза бывают у людей на кладбище во время похорон.

Я молил Бога, я просил его... Подхожу, вижу — а мой лежит в луже крови, таращится на меня глазенками, тужится, кашляет, харкает кровью и шось сказать хочет. Опускаю глаза, а у него ноженек-то нету — оторвало! Бросился к мальцу, пытаюсь нащупать место, где можно артерию передавить, шоб хоть кровь остановить, а сам вокруг рыщу глазами, ножки ищущу, шоб хирурги их на место пришли — слышал, шо врачи умеют цэ делать: пришивать конечности, если их сохранить, как надо, во льду. А ножек-то нигде и нет — испарились. А кровь хлещет! Начал давить на живот, шоб же не дать всей крови вытечь, но не получается — ему ж по самый таз оторвало. Я в шоке, видать, находился, и чуть малому живот ремнем не перетянул, кишки не выпустил, благо люди оттащили, не дали сделать это. А сынка все тужится, кряхтит, пытается на локти подняться. Вроде получилось, чуть привстал и смотрит такими удивленными глазками сначала на пустое место, там, где должны быть ноги, а потом на меня и спрашивает, как ни в чем не бывало, будто не серьезная рана у него, а царапина какая или заноза в пятке: «Папка, а как же я теперь на велосипеде кататься смогу...» — и опрокинулся навзничь, вверх лицом, светлыми глазками в небо.

Долго еще, как потом рассказывали, звал я на помощь врачей, просил людей найти ножки, но...

Семен посмотрел на велосипед.

— А велосипед только погнулся. Когда начался обстрел, детей стали загонять в подвал. Мой не бросил велик, вместе с ним побежал. Потому и отстал, и спрятались не успел... Еще пару ребятишек ранило, но живы остались. А вот мой не успел... Так толком и не покатался.

Не нашел я тогда слов утешения... Следом возникло жгучее желание извиниться перед Семеном, и я повернулся было к нему, уже готовый произнести слова прощения, но неожиданно передумал, сжал зубы, чтобы не выронить ни звука. Нет, подумал я, не так надо просить прощения: не словами, кои уже не поднимут из земли погребенных детишек, — делом надо.

Семен долго еще смотрел на велосипед, а потом вроде как опомнился, вскинул левую руку, оголив запястье, посмотрел на часы и уже уверенным голосом сказал:

— Мне пора.

— Простите, а вы куда сейчас?

— В часть! — строго ответил он. — Пока не очищу Украину от этой мрази, буду воевать. — И тут я понял, что он говорит серьезно. Причем произнес он это с такой уверенностью, что у меня не оставалось сомнения — этот дойдет до конца, до Победы. — Я же, как малого похоронил, неделю в подвале прожил, не просыхал, горе горилкой заливал. Но взял себя в руки и ушел добровольцем. Моя часть неподалеку тут. Каждую увольнительную прихожу к малому.

— Какой номер твоей части?

— Не, на днях уеду. Напросился на фронт. Не будет меня здесь.

— Куда на фронт?

— На передовую, под Горловку. Теперь моя жизнь на войне, там мой дом. Пока последний фашист не содохнет. Бывай, даст Бог, повстречаемся. А нет — не поминай лихом.

Он неторопливо пошел по аллее к выходу из парка.

Эта встреча предрешила мою судьбу. В тот же день принял я решение не возвращаться домой в Москву (я сопровождал автоколонны с гуманитарным грузом из России), а остаться на Донбассе и защищать эту землю с оружием в руках, тем более что с этими местами меня многое связывало. Мне казалось, я все время жил с ощущением будто что-то, начатое в молодости, не доделал. И вот настал день, когда я имел возможность восполнить пробел, образовавшийся в моей жизни, и заштопать брешь.

Так, благодаря знакомству с Семеном, я оказался на фронте в рядах народной армии ДНР. А через восемь месяцев после той встречи началась военная операция России против украинских неонацистов.

*Из сообщения российских СМИ: «В Донецке от удара ВСУ обвалилась многоэтажка. Обрушено перекрытие между 5 и 4 этажами. Под завалами могут находиться три человека, среди которых один ребенок пяти лет. Их ищут спасатели...»*

## 2

В тот год начало весны, как назло, было сухим и холодным: морозы доходили до — 12° днем, а ночью еще хлеще — ледяной ветер без труда проникал, как игла сквозь материю, через плотную ткань зимнего обмундирования, жгуче пронизывал кожу. Зима как будто злилась на людей, учинивших содом и пожарища, и топталась на месте, недовольная, не желая уступать место весне.

Говорят, такое на Донбассе случается раз в восемь лет, и по-настоящему весенняя оттепель (и то — вялая) в такой год начинается ближе к апрелю. И все бы ничего, мороз — невеликая беда для закаленного здешнего человека, если бы не треклятая гололедица. За зиму выпавший снег на дорогах, обочинах и полях, днем растопленный солнцем, когда температура воздуха поднималась до нуля, ночью превращался в сплошной ледовый каток. Снежный наст, на ощупь, казалось бы, твердый, как асфальт, на деле оказывался обманчивым и для ходьбы по нему, тем более взрослого человека, не годился. Во многих местах ледяная корка под малейшей тяжестью ломалась, как тонкий лед в проруби, и ноги по колено погружались в рыхлый снег; а любая неровность на накатанной дороге, с виду гладкой, каждая выемка и кочка представляли опасность поскользнуться и получить травму при падении об острые края колеи, продавленной гусеницами и колесами тяжелой техники.

В таких сложных условиях нашему подразделению из тринадцати бойцов приходилось каких-то десять километров по пересеченной местности плестись половину ночи, чтобы из Старобешево добраться до Кипучей Криницы — села, в котором, по данным разведки, расположились недобитые украинские нацисты, предательски оставленные своим же командованием при отступлении. Их бросили, как пушечное мясо, и подкармливали пустыми обещаниями в скором времени выслать подкрепление, приказывали ни в коем случае не сдаваться, намеренно дезинформируя о ходе боевых действий. Из радиоперехвата наша разведка выяснила, что укронацисты не в курсе последних событий и не знают о реальном положении дел на фронте: о том, что Стыла уже освобождена, Докучаевск и Старобешево тоже зачищены, а линия соприкосновения плавно переместилась западнее Кипучей Криницы — и уже всюю шли бои за Волноваху.

Укры засели в сельском клубе и выставили караул на водокачке и в здании, расположенном на вершине одной из сопок близ села на территории учебного центра, не-

когда принадлежавшего военному училищу. У нациков в заложниках находились местные жители, которых они удерживали в зрительном зале клуба в качестве живого щита на случай атаки военных Народной милиции ДНР или российских солдат.

Приближалась к концу масленичная неделя. Укры рассчитывали испортить нам праздник, но мы, наоборот, устроили им такую Масленицу — мама не горюй! «Градами» да «Ураганами» угощали вместо блинчиков, а запить — нате вам коктейльчик «Торнадо»!

В освобожденных селах и городах православные, те, кто остался и не захотел переезжать, не растерялись и не упали духом, а уставшие от религиозных гонений ляхов, измученные запретами на право вероисповедания, обрета, наконец, свободу, продолжили древнюю традицию. Да так рьяно, что в некоторых деревнях сжигали не только куклу Масленицы, но и ради такого праздника специально сделанные чучела с головами, изображающими Зеленского, Гитлера и Бандеру. Сию карикатурную троицу наряжали в нацистскую форму, вставляли им в левый рукав палку, чтоб рука оставалась приподнятой и вскинута вверх в гитлеровском приветствии, затем привязывали их к столбу и под радостные возгласы попеременно с проклятиями поджигали, вода вокруг кострища хороводы.

Первые две недели после начала военной спецоперации взэсушники не особо скрывали себя, уверенные в своей силе и правде, и смело палили из гаубиц и пушек в направлении Комсомольского и Старобешево, городов к тому времени нами уже освобожденных. Поэтому времени ждать потепления, чтобы без труда добраться по сухой дороге до села и очистить его от террористов, не было: нелюди в любую минуту могли начать пальбу по нашим позициям и по мирным жителям. Бандиты стреляли наобум, палили куда попало, вслепую, с одной только целью: как можно больше разрушить жилых кварталов и жизненно важных объектов: больниц, школ и детских садов. Фашистам меда не надо — дай только навредить немощным, больным, старикам, женщинам и детям, нежели воевать, как положено, по военным законам, с противником, у которого в руках боевое оружие, а не грудное дите или инвалидная трость.

Как только началось освобождение Волновахи, а в Мариуполе «азовцы» оказались зажаты в клещи и блокированы на заводе «Азовсталь», наики, прячущиеся в Кипучей Кринице, лишились связи с внешним миром и, как трусливые зайцы, притихли, залегли на дно, выжидая. Возможно, надеялись на подмогу или ждали подходящей момент для отступления — бегства.

Мы торопились, как могли, мелкими шажками скользя по гололеду. Шли полями, но большей частью по летникам, держась лесопосадок, в сером цвете которых наши темные фигуры хоть не так сильно выделялись на фоне снега. Время от времени один из нас поскальзывался и, шепотом матерясь, дабы не выдать свое присутствие вражине, падал, ударяясь об острые зубы снежных барханов. Иногда кто-нибудь проваливался в засыпанные снегом пустоты в сугробах — взвод останавливался: товарища приходилось вытягивать за руку.

Последнюю неделю погода стояла сухая и ясная, что совсем не радовало, несмотря на душевную жажду весеннего тепла. Но приди в том году весна, как положено, в срок, настоящая, с оттепелю, лучше б не стало: все вокруг тогда раскисло бы и потекло, что еще более усугубило пешее передвижение, особенно по бездорожью и в полном боевом снаряжении. В ту ночь мы умоляли небо только об одном: о снеге. Выпади он, то припорошил бы собою лед хотя бы на чуть-чуть, что существенно облегчило бы ходьбу.

Наш отряд в срочном порядке сформировали накануне днем, отобрав бойцов из различных подразделений Донецкой Народной Республики. До этого дня никто из нас друг друга не знал, и в тот суматошный вечер, когда нас собрали, мы даже толком не познакомились: некогда было.



В фронте я попал случайно. Меня неожиданно сняли с наряда и срочно направили в штаб. Там меня ждал подполковник, мужик в годах, вероятно, отставник, по долгу чести вновь вернувшийся на службу. Я вошел в кабинет и отрапортовал о своем прибытии. Командир сидел за столом и просматривал мое личное дело (как выяснилось позже) и даже не посмотрел на меня. «Вижу, ты бывал здесь?» — не отрываясь от бумаг, хриплым басом спросил он. «Так точно!» — ответил я. — «А почему не остался в армии?» — Он продолжал перелистывать бумаги, что-то выискивая в них, до сих пор не удосуживаясь взглянуть на меня хотя бы мельком. «Вы про училище?» — переспросил я. — «Да, — ответил офицер и начал медленно, по слогам, вслух читать название училища: — Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи имени генерала армии А.А. Епишева, отделение инженерных войск». Только теперь он оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на меня. «Чего ж не закончил?» Я замешкался: не хотел разочаровывать его — догадывался, что вызвали неспроста: вероятно, намечалось серьезное боевое задание, и мне не хотелось упускать этот шанс — выполнить его. «Да Союз разваливался, глупый был, молодой, вот и бросил». — «Ясно». Полковник закрыл папку личного дела и, поглаживая пальцами подбородок, некоторое время пристально смотрел на меня, прищурился глазами, а потом произнес уже по-военному строго и монотонно: «Пойдешь на задание в составе разведгруппы. Там все опытные, кто Чечню прошел, кто Абхазию и Карабах, даже Сирию. Нам нужен боец, который знает окрестности». — «Есть, товарищ полковник! В каком районе?» — «Кипучая Криница. Знаешь такую?» — «Еще как... Там полевая учебная база нашего училища была. Каждое лето в палаточном лагере жили. Там учебный центр был, морально-психологическая полоса...» — «Ладно, ладно, — перебил он меня, — знаю. Многие мои сослуживцы это училище закончили, рассказывали о ваших полевых выходах. В общем, дело такое. После заката выдвигаетесь туда. Твоя задача: помочь остальным сориентироваться на местности. Покажешь, где что находится, подскажешь, каким путем безопаснее подойти к селу и, если понадобится, а понадобится точно, подскажешь, где какой объект расположен. Что это за объекты, узнаешь на месте. Направляйся в распоряжение капитана, он скажет, что дальше. Выполняй!» — «Есть!»

Так я оказался в диверсионно-разведывательной группе под командованием российского офицера в звании капитана. Когда забрезжил закат, нас всех собрали, вооружили, построили, объявили цели и задачи и, как только стемнело, мы тронулись в путь.

Шли поодиночке, цепочкой, на расстоянии пятидесяти метров друг от друга. Двигались молча. Из звуков — только скрип снега да отдаленный гул канонады со стороны Донецка. Иногда тишину нарушал чей-нибудь недовольный голос с проклятиями в адрес вездесущей гололедицы.

Впереди меня шел, опустив голову, крупный мужик высокого роста, вернее, старик. Его лицо, наполовину скрытое густой, косматой бородой, я видел лишь мельком, и то в потемках, когда еще находился в расположении части. Его настоящего имени я не знал, да и никто из группы, скорее всего, тоже. Все называли его Батей. Весь вечер он ни с кем не разговаривал и держался особняком. Даже когда его о чем-то спрашивали, он молча откинулся, не поднимая глаз, и мотал головой в знак согласия или несогласия. Вопреки уставу, Бате позволялось делать немые доклады о выполнении заданий; для него не существовало слов «есть!», «так точно!», «никак нет!», «разрешите доложить!» Он либо молчал, либо «угукал». Почему-то командиры на это закрывали глаза. За все время нашего марша до Кипучей Криницы старик ни разу не произнес ни звука. Он шел, смотря себе под ноги, изредка глядя по сторонам.

Вообще, я не ошибусь, если предположу, что в каждом батальоне по всей линии фронта имелся свой такой Батя, боец, которому перевалило за пятьдесят, а то

и шестидесять лет. Бойцы с почтением относились к пожилым солдатам, считая их чуть ли не своими отцами, и называли тех из уважения Батями. Чаще это были мужики, большинство из которых потеряли работу, кров, семью, а то и все разом. Это были люди старой, советской закваски, для которых слова долг, честь и совесть являлись не простыми словами, а имели особое значение. Их отцы и деды сражались в Великую Отечественную, и о войне они знали с младенчества, да не по учебникам истории и кинофильмам, а из уст своих родных. Никто из них никогда не обижался на такое прозвище — Батя.

Только когда все закончилось, когда боевая задача, поставленная перед нами, была выполнена и мы могли расслабиться и в спокойной обстановке обсудить последние события, а также ближе и при свете, наконец-то, рассмотреть лица друг друга, мне удалось пообщаться с нашим Батей и узнать его лучше.

Нацисты хитростью заманили в клуб тридцать шесть жителей Кипучей Криницы и восемнадцать человек из соседнего, впритык граничащего с Криницей села Родниково под предлогом якобы собрания. Но как только послушный народ, что покорное стадо, организовано собрался возле клуба, а потом по команде вояк гурьбой вошел в кинозал, бандиты заперли за ними дверь на засов и повесили массивных размеров амбарный замок. Дабы не было шума и паники, выпустили автоматную очередь в беленый потолок внутри клуба, давая плененным жителям понять, что шутить они не собираются. Позже освободили пятерых женщин, чтоб те стряпали еду, приносили пищу в клуб и кормили оставшихся в заложниках односельчан, а также самих нацистов. А чтоб кухарки ненароком не сбежали или не проболтались, к ним приставили конвой и угрозили, что начнут по одному жителю в день расстреливать и выкидывать на улицу в пищу оголодавшим собакам, а то и вовсе всех разом сожгут вместе с клубом, если в село вдруг нагрянут российские гости. Так и говорили, сволочи: «Устроим вам Хатынь». Для плотских утех негодяи выбрали шестерых женщин и несовершеннолетнюю девочку, держали их на привязи в фойе клуба, как собак.

Однако благодаря тем самым поварам наши военные узнали о положении дел в Кипучей Кринице: одна из женщин тайно сумела позвонить кому-то из своих друзей в Старобешево и сообщить о ситуации в селе. Особенно важной информацией являлись точные сведения о том, какое у террористов в наличии оружие и его количество, а также число самих недочеловеков, которых там оказалось двадцать четыре особи. Основная часть нацистов, человек шестнадцать, постоянно располагалась в клубе, остальные, меняясь один раз в сутки, группами по три-четыре бандита находились в здании учебного центра на сопке и в водонапорной башне.

Четыре дня нацисты никак себя не проявляли, похоже, догадывались, что линия фронта вплотную приблизилась к ним. Непонятно только, чего они выждали, возможно, надеялись, что ситуация изменится в лучшую для них сторону и скоро придут свои.

К селу мы двинулись со стороны Комсомольского и под утро, в три часа, не доходя до него метров двести, устроили привал в траншее, вырытой нацистами для обороны.

Меня переполняли эмоции: спустя тридцать лет я оказался в местах своей юности! Рассмотреть местность мешала ночь, и я с нетерпением ждал рассвета.

В моей памяти хранилось все до мельчайших подробностей, что здесь когда-то происходило со мной: наша курсантская жизнь в палаточном лагере, как мы ели из котелков перловую кашу с тушенкой, приготовленную на полевой кухне, как тренировались на полигоне: подрывали противотанковые мины, стреляли по мишеням, бросали гранаты и преодолевали полосу препятствий. Помню июльский зной, яркое солнце, запах сена, травы и цветов; степь, заполненную стрекотаньем тысячи насекомых и щебетом полевых птиц, помню вкус прохладной родниковой воды.

А еще мне навсегда запомнился тот неповторимый, хотя для кого-то он может показаться пустынным, степной пейзаж, который окружал Кипучую Криницу. И как ценный бриллиант я до сих пор бережно храню в своей памяти и с особой теплотой и трепетом вспоминаю эту картину: огромное ковыльное море, по поверхности которого веером колыхаются белогривые волны, раздуваемые горячим ветром, и мы, молодые ребята, идем по нему, утопая по пояс в высокой траве, а потом, изможденные жарой, ложимся на теплую землю и мечтаем, наблюдая за облаками.

В то утро я совершил путешествие в прошлое.

Мы еще раз обговорили план действий, разделились на три группы и разошлись. Первая группа выдвинулась на самый дальний от нашего места остановки объект — к зданию учебного центра на полигоне. С севера Кипучую Криницу огибала окруженная сопками с крутыми склонами неширокая низина, поросшая камышом и заполненная водами протекающей по ней неглубокой речушки Сухая Волноваха, которая, делая петлю, чуть дальше, примерно через километр, сливалась со своей сестрой Мокрой Волновахой. Недалеко от места слияния двух рек, на широкой поляне, еще в мое время была оборудована морально-психологическая полоса, а в ста метрах от нее располагалась то ли насосная станция, то ли шлюз и водозабор, огороженный металлической оградой (где мы купались, будучи курсантами).

От села через то место, где мы остановились, к полосе препятствий, а оттуда к полигону вела узкая тропинка вдоль левого берега, которой жители пользовались летом. Но идти по ней сейчас было небезопасно, так как, скорее всего, надики заминировали ее. Поэтому ребята, спустившись в низину, к гидросооружениям, пошли по льду замерзшей речки, а там и рукой подать до здания учебного центра: останется подняться по склону на вершину сопки, как они окажутся на месте. Днем оттуда, с вершины, родниковая долина просматривается очень хорошо, как и большая часть села вместе с дальними полями — пройти не замеченными врагом при свете дня мы никак не сумели бы.

Следом за первой выдвинулась вторая группа — к водокачке. Подойти к ней не составляло труда: она находилась на отшибе села в пятистах метрах от нас.

Нашей группе задача выпала несколько сложнее — сельский клуб. Чтобы добраться до него, нужно пересечь всю деревню. А сделать это бесшумно было не так просто из-за дворовых и бродячих собак, которые поднимали лай, реагируя на любой незнакомый запах или шорох. Мы надеялись, что бандиты напьются или обкурятся, потеряют бдительность и не обратят внимания на собачий лай, решив, что псы гавкают на котов или забравшихся в село лисиц.

К нашему везению, по селу — то там, то тут — и без нашей помощи разносился непрерывный визг собак и крик дерущихся котов, и мы уже не опасались быть обнаруженными. Даже если какая псина и учует нас, своим тьяканьем она вряд ли насторожит сонное бандитское племя, наверняка уже привыкшее к подобным звукам.

Несколько сот метров мы шли по главной улице, а затем свернули в заброшенный двор и, переходя по огородным участкам, успешно пересекли полсела и в ста метрах от заднего двора клуба засели в коровнике одного из пустующих дворов.

Начало одновременной атаки на все три объекта мы запланировали ровно на пять часов утра. По данным информаторов, обычно в это время укры производили смену караула. Перехватить и ликвидировать их именно во время передвижения к объектам и являлось нашей главной задачей. Но бандиты по каким-то причинам в то утро смену не произвели, и нам пришлось действовать по запасному плану.

Надо отдать должное: в отличие от меня, остальные бойцы были опытными — одни служили в разведке в первую и вторую чеченские войны, другие отличились в Карабахе и Абхазии, а наш капитан недавно вернулся из Сирии.

Не прошло и часа после начала операции, как все до единого укронацисты были уничтожены, а заложники освобождены. Как говорится, без шума и пыли. Но что сотворил в этом бою Батя, мы целый час наперебой обсуждали.

Батя всех поразил своей отвагой, но особенно яростью в бою. Никто не ожидал от него такого. Батя, можно сказать, в одиночку расправился с нациками, охранявшими объект.

Он будто ждал этого момента, чтобы поквитаться с врагом, и неожиданно рванул вперед первым, забежал внутрь башни и своим диким криком и бешеным выражением лица буквально «обезоружил» противника. До этого тихий и, казалось, нерасторопный мужик вдруг оказался на редкость подвижным и голосистым: поливая укров бранью, он отбросил в сторону автомат, как ненужный предмет, и бросился на вооруженных бандеровцев с одним штык-ножом в руке. Своим ревом, словно это был разъяренный медведь, зимний сон которого потревожили, он перепугал всех собак в округе. Одного из бандитов Батя сбил с ног, точно тараном, да так, что тот мешком повалился на пол. Потом сел на него, придавив массивным телом, и давай бить кулаком по голове, а когда фашист попытался вывернуться, всадил ему в грудь нож по самую рукоять.

Затем бросился на другого, оцепеневшего, вэсзушника. Тот в страхе забыл даже об оружии. В общем, стоял истуканом, разинув рот и выпучив глаза, пока дед не задушил его голыми руками.

Третьего нациста завалил один из наших бойцов, бросив в него нож в тот момент, когда бандит потянулся к ручной гранате, подвешенной к поясному ремню.

Расправившись с нациками, Батя рухнул на деревянный ящик и глубоко, судорожно вздохнул как человек, выполнивший, наконец, тяжелейшую работу.

Мы сообщили в штаб о выполнении задания и стали ждать автобатальон, который следовал в село: жителям, желающим эвакуироваться в безопасную зону, предоставили два бортовых КамАЗа и автобус. Пока мы ждали наших, освобожденные селяне рассказали о том, как они жили в бандеровской оккупации, и о зверствах, которые учиняли нацисты. Всякого пришлось натерпеться людям: и побои были, и издевательства, и пытки, и надругательства над женщинами, и унижения стариков, и глумление над несогласными с политикой Киева. Пересказывать все ужасы, что творили украинские нацисты с местными жителями и свидетелями которых были даже дети, нет желания. Правда — жестокая вещь. Вот только один эпизод, который тронул меня до глубины души. Когда мы открыли двери кинозала, люди сначала не поверили, что их освобождают, да и вообще, что мы — русские и донбасские бойцы, и оставались на своих местах, боясь шевельнуться. Им пришлось доказывать, что мы не нацики, переодетые в российскую военную форму, а свои, русские.

Пока мы ожидали приезд наших, я украдкой наблюдал за Батей. Он все еще сидел на деревянном ящике спиной ко мне и что-то рассматривал в опущенных между коленями руках. Мне хотелось понять, что руководило этим человеком, что привело его в такую ярость? Что могло случиться в его жизни, чтобы он, не страшась гибели, с голыми руками бросился на вооруженного врага?

Ответ не заставил себя долго ждать. Проходя мимо Бати, я заглянул через его плечо и увидел фотографию, на которую он смотрел.

В ту секунду мне показалась, что подобная ситуация со мной когда-то происходила: промелькнула знакомая картинка — парк, мемориальная плита на Аллее Ангелов, список... И вспыхнуло перед глазами имя «Семен». Я нагнулся и заглянул Бати в лицо — но нет, это был другой человек. Но, подобно Семену, Батя выглядел рано постаревшим.

Я посмотрел на фотографию в его руках, но не увидел на ней ни одного лица — только могильные плиты.

— Под одной из них... мой сын... И жена...

Так вот почему, стал догадываться я, он такой замкнутый, вот откуда такая ненависть к врагу.

Он посмотрел на меня оценивающим взглядом, решая, по-видимому, стоит ли со мной делиться.

— Ты меня, видать, за старика принял... Это я враз постарел после их гибели... Славный у нас с жинкой родился малец, здоровый, все как положено: и по росту, и по весу. Правда, под взрывы снарядов нацистских рождался. Так и думали: смелым будет. Громыхнет, бывало, где поблизости, а он, еще и годика не было, даже не дрогнет, только лыбится, точно вокруг не снаряды рвутся, а какая игрушка-погремушка слишком громко дребезжит.

А чуть подрост, любопытным стал до ужаса: все ему потрогать надо, все пощупать, а до чего не может дотянуться, просит достать, дать ему, показать. Ничего не боялся. Жили-то мы больше по подвалам, редко оставались в квартирах. Все из-за бомбежек. Хлопец и дня белого толком-то не видел в своей жизни, и все выбраться на улицу норовил. Чуть отвлечешься на минуту, а он, сорванец, уже лезет наружу. Сверху грохочут взрывы, сирена гудит, а он, бесстрашный, одно гулять просится, посмотреть, шо ж там шумит.

— Война там, — говорю ему, — стреляют, помереть можно.

А пацанчик в ответ:

— Ты ж выходишь, и я хочу.

— Я же знаю, где ходить можно, а где нельзя.

— И меня научи, — на своем стоит, настырная душа.

Зверушек он только в книжках видел. Из города же вся живность поубежала, даже мыши и крысы перевелись: жрать-то им нечего, да и грохот распугал. Однажды, когда ему годика три было, приволок приبلудного котенка, нашел где-сь в подвальных закоулках. Ну вот приходит с кошаком на руках и просит:

— Давай себе возьмем!

Мы с женой говорим ему, что коту с людьми жить опасно. Сами бегаем туда-сюда из квартиры в подвал. Уж лучше пусть на воле живет: так шансов выжить у него больше будет. Бомбят же не животных, а нас, людей. Угодит ненароком под обстрел вместе с нами, и шо будешь делать?

— Вот война кончится, — успокаиваю его, — тогда и заберешь кошенья. А пока пусть живет в подвале.

В ответ он надулся, но не плачет, обдумывает что-то. И вдруг говорит на полном серьезе, да не по годам умно ж так:

— А вдруг война долго будет, или в подвал бомба упадет, и я умру. Кто ж забрет его тогда отсюда?

— Да не попадут в нас, — успокаиваю. — Стены подвала крепкие, вон какие.

— Хочу пожить с котенком, — настырничает малой.

— У тебя вся жизнь впереди, поживешь еще и с собакой, и с кошками.

— А вдруг я рано умру... — свое чешет он, — и не смогу пожить с кошкой.

Тогда я впервые услышал, как он о смерти говорит. Но не придал значения. Наша детвора ведь рано взрослеет, все понимает. Война же, вон-те, только выгляны в окно — вся на ладони. Да шо там говорить, если у детей вместо игрушек гильзы от патронов да пулеметные ленты. Они ж все марки оружия знают, в калибрах разбираются не хуже солдата. По осколкам снарядов отличают, чье производство: нашенское или натовское. Во как! Э-э, дети войны, одним словом. Многие в потемках всю свою жизнь, с самого рождения прожили, света дневного не видя. Подвал для них — дом родной. Да что там... Смотришь на это, и муторно на душе, ох, как паршиво становится, что хоть вой на Луну, как волк, от беспомощности.

В четыре года придумал разрешить ему пострелять из автомата. Я тогда в народ-

ной милиции служил, за порядком в городе следили, имел ствол. Как-то пришел на ночевку домой с оружием. Он как пристанет: дай да дай пострелять.

Тут-то вроде ниче в его просьбе необычного нема — нынешнее племя такое: каждый пацан жаждет боевое оружие хотя бы помацкать — это ж дети. Но если нормальное дите отказ как надо воспринимает и всякую ерунду не несет — нельзя, так нельзя, то мой, видишь ли, отвечает так, как не свойственно малому дитю отвечать.

— Вырастешь, постреляешь, — строго ответил ему.

А он как опять про то самое выдает:

— А вдруг я рано умру. И как я тогда постреляю из автомата, коли не вырасту?

— Что ты такое заладил? — Поднял его на руки, прижал к себе, а у самого сердце захлебывается. У кого, думаю, нахватался такого, где услышал? — Чего ж ты каркаешь все про смерть-то: «рано умру, рано умру»... Не умрешь. Тьфу на тебя!

Однажды собираюсь идти на службу — ему пять лет было, — а он меня не отпускает: подбежал, обнял руками за сапог и держит, вцепился мертвой хваткой, не оторвешь и клещами. Сам ростом-то с мой сапог, а силенок хоть отбавляй. Говорю ему, шо пора мне идти, отпусти. А он пуще прежнего плачет. Шо репей, еле отодрал от сапога.

— На войну мне надо, — обманываю малого. — Как побью фашистов, так и вернусь, конфет привезу.

Вроде успокоился. Но не тут-то было.

— Возьми меня на войну! — продолжает свое, хныча.

— Нет, тебе еще нельзя, ты маленький. Вот подрастешь, возьму.

А он опять двадцать пять:

— А вдруг я не вырасту, рано умру... — и в слезы.

Господи, думаю, да шо ж мне за беда с ним такая! Слова его недетские просто душу резали. Разве будешь спокойным на службе после подобных слов? Запереживал я в тот день не на шутку: шо ж цэ он, думаю, наговаривает смерть-то, хоронит себя раньше времени? Не расположен я в эти... как их там, ну, приметы всякие, верить, но тут, знаешь ли, как ножом в грудь. Да ша ж ты, война, думаю, с детьми-то нашими творишь? Нам, взрослым, и то страшно упоминать о смерти. А им, детям, хоть бы хны, война как данность. Они ж жизнь свою так и воспринимают: шоб взрывы были слышны с утра, а не соловьи, и шоб не первоцветами пахло по весне, а гарью от пожаров. Они ж другой жизни-то и не знают, кроме военной, подвальной и впроголодь.

Прошлой осенью, в ноябре двадцать первого, ему шесть исполнилось. Меня дома не было полмесяца, задержался по службе и на день рождения не смог приехать. Но под Новый год вырваться получилось на три дня. Ну, с кой-каким подарком для сына все же приехал, если это можно назвать подарком: жменя леденцов... этих, как их там... дюшесов да пакет почернелых, мороженых яблок и одной засохшей мандаринкой. Но хлопец и тому был рад до писка. Жинка простенький пирог испекла. В общем, отметили праздник по-донбасски, с чаем без пряников и со свечкой в консервной банке.

И знаешь, глядя на это, на жизнь такую нашу, до того гадко стало на душе, хоть руки на себя накладывай. Как представишь: а ведь где-то недалеко, в какой-то сотне километров от нас, в соседней стране люди в мире, тепле и уюте отмечают Новый год. Сидят за праздничным столом в доме, где горит свет, мигает елка, подарки, шампанское, мирная ночь. Все, как и у нас было раньше, до войны. И больно не за себя, а за детей горше, шо не ведают они про настоящую новогоднюю сказку...

Батя замолчал, сопя как боров. Я думал, он заплачет, но он привстал, достал из кармана брюк мягкий носовой платок и только основательно высморкался. Я так внимательно слушал его, что не обратил внимания, как позади нас собрались ребята.

— Знаешь, шо я думаю? А не победить им нас... — Батя посмотрел на меня, и, хотя я был старше его на два десятка лет, я готов был прислушаться к его мнению умудренного жизненным опытом старца. — Никогда не победить. Потому что мы сильнее духом. У бандеровцев нету духа, нет воли — они трусливые. Сравни вот: колы они в плен попадают, то плачут, как дети, просят о пощаде, вину не признают, спихивают все на кого-то, говорят: «Та мы не стреляли. Та мы тут случайно оказались. Нас заставили». А наш солдат идет до конца. Вот же, совсем недавно в Сирии наш летчик воронежский, Роман Филипов, которого сбили боевики, он же не сдался им в плен, а подорвал себя гранатой вместе с игиловцами. А сколько таких героев на Кавказе было, в Афгане. Да разве ж среди нациков есть хоть один такой, что свою жизнь положит за нынешнюю украинскую власть? Нету таких. Нет ни одного даже близко похожего подвига у нацистов. Они тико из-за границы орать горазды, прячась в Парижах, Берлинах да в любимой Варшаве.

Нас-то, народ, они ж не сломают. Шо ж мы, телята какие-то, что ли, которых можно загнать в стойло и делать все, что вздумается! Они с нами навывтворяли столько за эти годы, шо вряд ли кто простит им этого. Нет им смысла от Донбасса и Луганска никакого. Никто и никогда не будет им подчиняться и выполнять их законы. Кровная месть наступила, товарищ. А этот документ никакими Минскими договоренностями не подпишешь. Вот шо я думаю.

Кто-то из наших ребят подбадривал Батю, соглашаясь с ним, но он, казалось, не слышал никого, смотрел на уже засохшую бурую кровь на лезвии ножа.

— Месяц назад это было, — продолжал он, — вызывает меня комбат и сообщает: «В твою пятиэтажку снаряд попал. Там сейчас разгребают завалы. Есть погибшие, но списка пока нет...» И домой отпустил, даже «буханку» предоставил, на которой меня отвезли.

Еще подъезжая, увидел два разрушенных верхних этажа нашего дома, как раз посередине, там, где наша квартира. Надеялся, что в момент обстрела мои находились в подвале. Как только подъехали к дому, возле которого куча народу собралась — пожарные, техника, — я сразу помчался к подвалу. Вход туда наполовину завалило, пришлось с мужиками освобождать его от груды разбитых кирпичей и мусора. Когда расчистили, изнутри наружу стали выбираться люди. Одна из знакомых, увидев меня, заплакала и сразу так прямо в глаза и бросила: «Твоих тут не было».

После этих слов у меня помутнело в глазах. Я почувствовал себя настолько уставшим, будто всю жизнь без сна и отдыха на каменоломнях ишачил. Но все равно стоял и встречал людей, шо из подвала вылазили. А когда вышел последние и моих среди них не оказалось, то закричал, что есть мочи, стал звать их, надеялся, что в момент обстрела они вышли и спрятались где-то поблизости.

Всю ночь помогал спасателям разгребать разрушенные этажи. Надеялся их под завалами найти — а вдруг уцелели. Но от них, кроме нескольких обугленных косточек, ничего не осталось. Ни-че-го. Вообще. Все сгорело. Даже фотографии. Никакой памяти не осталось. Как же я не удосужился хоть пару снимков хранить возле сердца, в кармане! До сих пор не могу простить себе этого. Их лица остались только в памяти. Так и горюнил без фото...

Батя низко опустил голову, так, что подбородок коснулся груди.

— Эту сам сфотографировал недавно. — Батя приподнял руку, потряхивая снимком. — Вот и все, что осталось от моей семьи — одни цифры да буквы.

Батя медленно поднялся, вложил штык-нож в ножны и вышел.

На следующий день, после того как мы вернулись в Старобешеве, наш отряд расформировали: ребята разъехались по своим подразделениям. Батя вообще незаметно исчез, даже не попрощался.

Через десять дней батальон, в котором я служил, перебросили под Донецк, бли-

же к Артемовску. Перевозили нас туда на стареньком «пазике». Я сидел у окна, покрытого изнутри тонким слоем льда: стоял мороз. Печка в автобусе тарыхтела трактором, но толку от нее никакого — ноги околели от холода. Я несколько раз усердно подул на стекло, пальцем растер оттаявшее пятнышко и в образовавшееся окошко стал смотреть на мимо проплывающие голые и серые пейзажи. На улице вихрилась метель.

Проезжая через какой-то городок, вдруг увидел, как в тесном дворе между старыми жилыми трехэтажками играют в футбол подростки. Эта картина настолько сильно меня поразила, что я даже поднялся со своего места и повернулся назад, чтобы проследить за играющими детьми, пока они не скрылись из виду. На улице мороз, вьюга хлещет по лицам пацанов — а они гоняют мяч, проваливаясь в снег. Им хоть бы хны! Меня пробрал озноб. Не от холода — от гордости. Знаете, о чем я подумал? Да неужели такой народ можно победить?! Народ, у которого дети в дождь, снегопад или метель играют в футбол! Разве можно допускать даже мысль об их слабости или, что вообще немыслимо, о рабской покорности. Нет!

Какими бы ни были суждения и домыслы многих несведущих граждан по ту и другую сторону войны, как бы они не осуждали происходящее на Украине и не пытались предложить иное — не военное — средство урегулирования конфликта, скажу так: нет оправдания злодеяниям, совершенным нацистами. Одно только то, что за восемь лет войны на Донбассе, начиная с четырнадцатого года, были убиты две сотни донбасских детей, *уже* предоставляет Бате, Семену и миллиону новороссийских мужиков право на выстрел по смертельному врагу. Скажу больше: за горе, за убийства родных эти люди вряд ли пойдут на мировую. А для чего? Чтобы оставить эту мразоту жить и плодиться далее? Нет, они уже не остановятся и пойдут до конца, пусть даже им всю жизнь придется шагать. И уверен, дойдут и до самых Карпат, если понадобится, чтобы освободить не только непокоренный ими Донбасс и Луганщину, а вычистить всю украинскую землю от этой заразы. И чтобы и следа от нее не осталось на древней славянской земле, чтоб навеки из памяти стерлись имена этих изуверов и впредь наши дети и внуки и знать не знали, и слышать не слыхивали таких слов как «фашист», «нацист», «бандеровец».

Идти надо до конца, пока не будет истреблен последний упырь. Да — гибнуть, да — страдать, но идти до конца ради того, чтобы наши дети наконец спокойно, мирно жили в уютных домах и квартирах, а не в подземельях и подвалах; играли не с гильзами и осколками, а с мягкими игрушками и заводными машинками; разговаривали на языке, на котором говорят их родители; чтобы играли в футбол, гоня мяч не по снегу во время вьюги, а в теплом спортзале, и засыпали не под раскаты канонад и взрывы снарядов, ставшими привычной ночной мелодией, а под тихие, нежные голоса мам и бабушек, рассказывающих им сказку.

*«Самые замечательные солдаты получаются из людей, которые, уходя из дома с утра, даже и не помышляли о войне. А вечером, вернувшись, нашли на месте собственного дома воронку, в которой испарились жена, дети, родители. И вот это уже не человек, а волк, который будет рвать врага столько, сколько будет жить. А жить он будет долго. Ибо он не ценит собственную жизнь — она ему не нужна. Ему не нужны деньги, не нужны ордена — ему вообще ничего не надо. У него есть только одно: месть. Именно поэтому он будет жить долго...»* А.И. Лебедь, гвардии генерал-лейтенант.

